

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ**<Самостоятельность, которой достигла русская мысль в Белинском>**

<Фрагменты>

<Статья 6>

<...>

В Москве Белинский, подобно своим друзьям, был совершенно погружен в теоретические умствования и обращал очень мало внимания на то, что делается в действительной жизни. Он твердил, что действительность значительнее всех мечтаний, но, подобно своим друзьям, смотрел на действительность глазами идеалиста, не столько изучал ее, сколько переносил в нее свой идеал, и верил, что идеал этот имеет себе соответствие в нашей действительности, что, по крайней мере, важнейшие элементы действительности сходны с теми идеалами, какие найдены для них в системе Гегеля. Петербург, как известно всем пережившим идеалистический период воззрений, нисколько не удобен для сохранения таких мечтаний. В Петербурге действительная жизнь настолько шумна, беспокойна и неотвязна, что трудно обманываться относительно ее сущности, трудно не разубедиться в том, что она движется вовсе не по идеальному плану гегелевской системы, трудно остаться идеалистом. Петербург, с обычно своею готовностью услужить новому жителю всеми возможными разочарованиями, не замедлил доставить Белинскому обильные материалы для проверки благосклонных к действительности выводов Гегелевой системы и внушить ему, что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русскою жизнью. Пришлось отказаться от уверенности, что Гегелевы построения — верные изображения действительной жизни, пришлось критически посмотреть и на действительность, и на Гегелеву систему*. Результатом этой проверки было

* «Москвич очень скоро свыкается с Петербургом, если переедет в него жить. Куда деваются высокопарные мечты, идеалы, теории, фантазии! Петербург, в этом отношении, пробный камень человека: кто, живя в нем, не увлекся водоворотом призрачной жизни, умел сберечь и душу, и сердце не на счет здравого смысла, сохранить свое человеческое достоинство, не предаваясь донкихотству, — тому смело можете вы протянуть руку как человеку. Петербург имеет на некоторые натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вам, что от его атмосферы, словно листья с дерева, спадают с вас самые дорогие убеждения; но скоро замечаете вы, что то не убеждения, а мечты, порожденные праздною жизнью

для теоретических убеждений — очищение принципов Гегеля от их односторонности, отвержение фальшивого содержания, прилепленного к ним, и вывод новых следствий, в духе строгой современной науки; для жизненных стремлений — отвержение прежнего квиэтизма, разрушаемого действительностью, сохранение высокого убеждения, что разум и правда должны и будут владычествовать в жизни, хотя мы далеки еще от этого времени. Белинский убедился, что действительность заключает в себе очень много ложных и вредных элементов и, посвятив всю свою деятельность водворению в жизни владычества ума и правды, начал неутомимую, беспощадную борьбу со всем, что препятствовало достижению этой цели. Для такой живой натуры, как Белинский, переход от абстрактной идеальности, доводившей до квиэтизма и апатии, к живому понятию о действительности был естествен и легок. Система Гегеля на некоторое время увлекла его своим величием, и мы старались показать, что увлечение оправдывалось новостью и глубиной истин, заключавшихся в ее основных идеях; но никогда не удовлетворяла она его своим положительным содержанием, он всегда рвался вперед, негодуя на стеснительное бесстрашие Гегеля, всегда вносил в это холодное созерцание патетический жар своей живой натуры. Таково же было отношение к Гегелю и других сильных людей между друзьями Станкевича. Из выписок, нами приведенных, можно видеть, чем особенно увлекались они в системе Гегеля, почему особенно дорожили ею. В каждом теоретическом учении соединяются две стороны: отвлеченное понятие об истине и отношение этого знания к живой деятельности. Гегель ставит знание первую, почти исключительную целью своей системы; следствия этого знания для жизни стоят у него на втором плане. Этот порядок с самого же начала был изменен сильнейшими из друзей Станкевича; они с самого начала говорили: «Философия Гегеля благотворна для жизни, потому надобно изучать истины, ею открываемые» — ясно, что действительная жизнь стоит для них на первом плане, отвлеченное знание имеет уже только второстепенную важность. Люди с такими натурами не могли долго удовлетворяться системою Гегеля: тем или другим путем они должны были выйти из зависимости от нее, — и, действительно, вышли, кто тем,

и решительным незнанием действительности, — и вы остаетесь, может быть, с тяжелою грустью, но в этой грусти так много святого, человеческого... Что мечты! самые обольстительные из них не стоят в глазах дельного (в разумном значении этого слова) человека самой горькой истины, потому что счастье глупца есть ложь, тогда как страдание дельного человека есть истина, и притом плодотворная в будущем...» (Статья Белинского «Москва и Петербург» в «Физиологии Петербурга»).

кто другим путем. Нас здесь занимает Белинский, и мы видели, что его вывело из безусловного поклонения Гегелю ближайшее знакомство с действительностью, быть двигателем которой всегда стремился и был назначен он.

Прежние споры в Москве с друзьями г. Огарева¹ также имели свою долю участия в расширении взглядов Белинского. Правда, во время самых споров никакие возражения не могли нимало поколебать его веры в безусловную справедливость выводов, представляемых системой Гегеля; напротив, как то всегда бывает с людьми сильными и бесстрашными в своей последовательности, споры только утвердили его в прежнем образе мнений, заставили его быть еще последовательнее и строже в своих понятиях, внушили ему сильнейшее желание настаивать на них и доказывать неосновательность всех сомнений в том, что казалось ему истиною. Некоторые из статей, напечатанных Белинским тотчас по переезде в Петербург, написаны под влиянием этого полемического одушевления, и мнения, принадлежавшие всем сотрудникам «Московского наблюдателя», доведены в этих статьях, которые помещены были в «Отечественных записках», до крайности, возбудившей изумление и объясняемой только их полемическим происхождением². Но важно было уже то, что возражения, предложенные Белинскому его московскими противниками, сильно занимали его, не были им забыты. Когда первые порывы полемики миновались, когда сближение с действительною жизнью начало изобличать односторонность прежнего отвлеченного идеализма, Белинский должен был беспристрастнее взглянуть на мнения своих бывших противников, еще так недавно отвергнутые им с высоты идеалистических воззрений. Он увидел, что эти понятия, казавшиеся безусловному последователю системы Гегеля узкими и поверхностными, гораздо лучше выдерживают проверку фактами, нежели выводы, предлагаемые Гегелевою философиею, и что мыслящий человек ничего иного, кроме этих понятий, не может вывести из жизни. Деятели умственного мира разделяются на два класса: одним истина неприятна, если она прежде их высказана кем-нибудь другим, — они готовы брать привилегию на свои мысли, вероятно, по сознанию того, что производительность их в этом отношении слаба, — другие заботятся только об истине, не считая нужным заботиться о привилегиях, — вероятно, потому, что чужды опасения оскудеть умом и обеднеть мыслями; одни не любят отказываться от своих ошибок, — вероятно, по сознанию того, что все их претензии — самолюбивая ошибка; другие чужды этой щепетильности, потому что истина всегда лежала в основании их стремлений. Белинский принадлежал ко вторым. Он при первом же случае

с обычною своею прямою признался, что Петербург научил его ценить воззрения на действительность, о которых прежде он не хотел знать, и что в тех вопросах, о которых шли некогда споры, правда была на стороне людей, отвергавших выводы Гегелевой системы как несообразные с фактами действительной жизни.

Таким образом, исчезли причины разделения, еще незадолго до того времени бывшие препятствием дружному действованию лучших людей молодого поколения. Одни, прежде не обращавшие внимания на немецкую философию, сделались теперь ревностными последователями ее, найдя в ее принципах твердое основание для убеждений, которые были приобретены изучением новой истории и современного быта. Представитель другого направления в литературном движении, Белинский, был приведен наблюдением действительности к различению справедливых начал Гегелевой философии от ее односторонних выводов, увидел чрезвычайную важность тех вопросов, на которые в кругу Станкевича обращали слишком мало внимания, и удержал из Гегелевой системы только те убеждения, которые выдержали проверку живыми явлениями действительности. Все даровитейшие из бывшего круга Станкевича последовали за ним, если не вышли на ту же дорогу самостоятельно *. Односторонность обоих направлений совершенно сгладилась. При таком единстве понятий и стремлений должны были сблизиться и люди. Около этого времени возвратился из-за границы Грановский. Чем Станкевич был для своего круга, тем он стал равно для друзей Станкевича и г. Огарева. Грановского невозможно было не полюбить всею душою каждому благородному человеку. Все, что было в Москве благороднейшего между людьми молодого поколения, соединилось вокруг него. Где был Грановский, там могло быть только одно чувство — чувство братства. Помощником его в этом деле был г. Огарев. Скоро их влиянию подчинились и те, которые жили в Петербурге и провинциях.

Влиянием Грановского, Белинского и других присоединились к их литературному кругу почти все даровитые люди молодого поколения, уже действовавшие в литературе или выступавшие на этот путь.

* Читатель понимает, что, говоря здесь исключительно о литературном движении, мы не имеем права упоминать о людях иначе, как по отношению их к литературе. Без сомнения, в тогдашнем русском обществе на различных поприщах деятельности было много людей, замечательных не менее Белинского; положим, что были такие люди и в кругу Станкевича. Но читатель согласится, что мы можем называть представителем этого круга только Белинского. Мы вовсе не имеем охоты возвышать Белинского насчет кого бы то ни было — он в том вовсе не нуждается, — а только излагаем его литературную деятельность.

Таким образом, из прежних дружеских кругов Станкевича и г. Огарева, с присоединением новых деятелей, составилось одно большое литературное общество, главным органом которого в литературе, до начала нашего журнала, были «Отечественные записки» (с 1840, особенно 1841 до 1846 г.); главным действующим в «Отечественных записках» того времени был Белинский. С ним достойным образом разделяли с самого начала честь быть распространителями новых и здравых идей в русской публике некоторые другие люди, о которых мы отчасти уже упомянули, отчасти надемся сказать, — именно, кроме Грановского, г. Галахов, г. Катков, г. Кетчер, г. Корш, г. Кудрявцев, г. Огарев и другие. Станкевич умер еще до начала этого слияния, Ключников и Кольцов пережили Станкевича лишь немногими годами, как и Лермонтов, который самостоятельными симпатиями своими принадлежал новому направлению, и только потому, что последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей. Потери эти были вознаграждены присоединением новых людей, которые или примкнули к Белинскому, Грановскому, г. Огареву, или были воспитаны их влиянием. Из них надобно назвать, между прочим, г. Анненкова, г. Григоровича, г. Кавелина, покойных Кронеберга и В. Милютина, г. Некрасова, г. Панаева и г. Тургенева. Более или менее примыкали к тому же кругу или воспитывались влиянием Белинского или Грановского почти все без исключения даровитые люди нового поколения. Г. Краевский как редактор журнала, служившего органом деятельности Белинского, Грановского, г. Огарева и их друзей, занял очень почетное место в русской литературе, которая, мы с удовольствием можем сказать это, многим обязана ему была в это время за то, что он предоставил Белинскому в своем журнале положение сообразное в литературном отношении с преобладающею важностью этого лица для журнала.

Около того же самого времени, когда произошло у нас соединение односторонних направлений в одну общую, всеобъемлющую систему воззрений, подобное явление происходило и в Европе. Немецкие ученые начали сознавать, что жизнь имеет свои права не только над деятельностью, но и над наукою; французские ученые и литераторы стали понимать необходимость глубоко исследовать общие понятия, о которых до того времени мало заботились. В той и другой стране прежние односторонние учения стали уступать место новым идеям, которые уже не принадлежали исключительно тому или другому народу, а равно были собственностью каждого истинно-современного человека, в какой бы стране он ни родился,

на каком бы языке ни писал. Такое направление умов во всех странах образованного мира к одинаковым воззрениям на все существенные вопросы служило сильною поддержкою единства стремлений у всех истинно-современных людей в каждой стране. Так и у нас изучением новых явлений, возникавших в умственной жизни главных народов Западной Европы и, при всем различии своего происхождения и формы, проникнутых совершенно одним и тем же духом, укреплялось единство понятий, которыми связывались люди с современным образом мыслей.

Но единство понятий и людей у нас только укреплялось, а не рождено было внешними влияниями. Деятели, стоявшие тогда во главе нашего умственного движения, конечно, ободрялись тем, что согласие с ними всех современных мыслителей Европы подтверждало справедливость их понятий; но эти люди уже не зависели ни от каких посторонних авторитетов в своих понятиях. Мы уже говорили, что тот прогресс в понятиях, который сгладил прежнюю разрозненность, совершился у нас самостоятельным образом. Тут в первый раз умственная жизнь нашего отечества произвела людей, которые шли наряду с мыслителями Европы, а не в свите их учеников, как бывало прежде. Прежде каждый у нас имел между европейскими писателями оракула или оракулов; одни находили их во французской, другие — в немецкой литературе. С того времени, как представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике Гегелеву систему, оно уже не подчинялось никакому чужому авторитету.

Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми вполне самостоятельными в умственном отношении.

Этот факт — самостоятельность, которой достигла русская мысль в Белинском и главных его сподвижниках, интересен не потому только, что приятен для нашей народной гордости: он важен в истории наших литературных мнений потому, что им объясняются некоторые отличительные качества трудов Белинского и его союзников, — качества, которых прежде не имела наша критика; им отчасти объясняется и быстрое распространение литературных мнений Белинского в нашей публике.

Человек, мысль которого достигла самостоятельности, определительностью своих понятий и верностью их приложения всегда превосходит тех людей, которые следуют чужим понятиям, не будучи в состоянии подвергнуть критике принципы, которых держатся. До Белинского наша критика была отражением то французских, то немецких теорий, потому вовсе не имела ясности и определительности в своих основных воззрениях, а при оценке существенного

смысла и достоинства литературных явлений если высказывала много верного, то почти всегда или оставляла многое недосказанным; или примешивала к верным замечаниям странные недоразумения. Вообще, мнения лучших критиков, предшествовавших Белинскому, очень скоро, в течение каких-нибудь пяти-шести лет, оказывались устаревшими, неосновательными или односторонними. Так, «Телеграф» был основан в 1825 году, а в 1829 году человек, читавший статьи Надеждина в «Вестнике Европы», уже не мог без улыбки думать о «высших взглядах» Полевого, не мог не убедиться, что Полевой слишком неудовлетворительно понимал значение важнейших явлений в современной ему русской литературе. Суждения самого Надеждина представляют странный хаос, ужасную смесь чрезвычайно верных и умных замечаний с мнениями, которых невозможно защищать, так что часто одна половина статьи разрушается другою половиною. Напротив, суждения Белинского до сих пор сохраняют всю свою цену, и верность их вообще такова, что люди, восстававшие против него, почти всегда правы были только в том, что заимствовали у него же самого. В последние годы у нас много говорили о неудовлетворительности понятий Белинского; в числе этих эпигонов, воображавших, что пошли далее Белинского, были люди умные и даровитые; но нужно только сличить их статьи с статьями Белинского, и каждый убедится, что все эти люди живут только тем, чего наслушались от Белинского: они толкуют вечно только о том же самом, что говорил Белинский, и если толкуют иначе, так это только потому, что вдаются или в односторонность, или в очевидное пристрастие. Со времени Белинского материалы для истории литературы действительно разрабатываются; но, вообще, каждое новое исследование ведет только к новому подтверждению суждений, высказанных им.

Самостоятельность его мысли была также одною из главных причин сочувствия, с которым принимались его мнения. Слабая сторона людей, повторяющих чужие мысли, состоит в том, что большею частью они толкуют о предметах, не возбуждающих интереса в публике. Правда всегда правда, но не всякая правда везде и всегда равно важна и равно способна возбудить внимание: у каждого века, у каждого народа есть свои потребности; то, что интересно немцу, часто бывает вовсе не интересно французу или русскому, потому что не имеет прямого отношения к потребностям его жизни. Надобно говорить о том, что нужно нашей публике в наше время. Прежде наша литература слишком мало говорила о предметах, имеющих для нас слишком мало интереса, служа не столько выразительницею наших собственных мыслей, не столько разрешительницею наших собственных недоумений, сколько отголоском чужих суждений

о чуждых нам делах. Белинский всегда говорил о том, что слышать нужно и интересно было именно той публике, которой он говорил.

В следующей статье нам должно будет излагать его деятельность в пору зрелого развития. Характеризуя литературные воззрения Белинского, мы будем обращать главное наше внимание на его позднейшие статьи, потому что до самой смерти своей этот человек шел вперед, и чем далее, тем полнее и точнее выражались его мысли; и, конечно, мы должны будем принимать в основание своих соображений самое зрелое их выражение. Но прежде нам остается обозначить путь, которым шло развитие его воззрений с того времени, как начали появляться его статьи в «Отечественных записках», до той высоты, на которой застигнут он был смертью. В нескольких словах существеннейшая черта развития критики Белинского с 1840 года может быть определена так:

Критика Белинского все более и более проникалась живыми интересами нашей жизни, все лучше и лучше постигала явления этой жизни, все решительнее и решительнее стремилась к тому, чтобы объяснить публике значение литературы для жизни, а литературе те отношения, в которых она должна стоять к жизни, как одна из главных сил, управляющих ее развитием.

С каждым годом в статьях Белинского мы находим все менее и менее рассуждений об отвлеченных предметах или хотя о живых предметах, но с отвлеченной точки зрения; все решительнее и решительнее становится преобладание элементов, данных жизнью.

<Статья 9>

<...> Наши статьи имели целью не только историческое изложение различных направлений русской критики: мы хотели также указать на основания, от которых не должна уклоняться современная критика, если не хочет впадать в бессилие, мелочность, пустоту. Справедливые понятия об этом были высказываемы у нас Белинским, и на его критику до сих пор надобно смотреть не только как на замечательное историческое явление, но также и как на руководительный пример. Наши собственные слова не имели бы того авторитета, какой имеют его слова. Кроме того, если бы мы не приводили его мнения его собственными словами, иным, быть может, вздумалось бы говорить, что мы приписываем Белинскому мнения, которых он не имел: мы уже говорили, что память у многих из нас очень коротка. Выписки из Белинского предупреждают возможность такого сомнения и придают мыслям, которые должны быть считаемы справедливыми, авторитет, который немногие решатся отвергать.

Два важных принципа особенно должны быть хранимы в нашей памяти, когда дело идет о литературных суждениях: понятие об отношениях литературы к обществу и занимающим его вопросам; понятие о современном положении нашей литературы и условиях, от которых зависит ее развитие. Оба эти принципа были выставляемы Белинским как важнейшие основания нашей критики, разъясняемы со всею силою его диалектики и постоянно применяемы им к делу, успех которого и зависел в значительной степени от их соблюдения. С того времени, как писал Белинский, развитие наше не сделало еще столь значительных успехов, чтобы его мысли потеряли прямое отношение к нашему настоящему, и кто заботится об истине, по необходимости до сих пор держится литературных воззрений, предводителем которых был он в нашей критике.

Во всех отраслях человеческой деятельности только те направления достигают блестящего развития, которые находятся в живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в почве жизни, остается вяло и бледно, не только не приобретает исторического значения, но и само по себе, без отношения к действию на общество, бывает ничтожно. Когда дело идет о стремлениях и фактах, принадлежащих к сферам материальной, научной и общественной жизни, эта истина признается бесспорно всеми. Когда дело идет о живописи, скульптуре, архитектуре, также ни один сколько-нибудь сведущий человек не будет спорить против мысли, что каждое из этих искусств достигало блестящего развития только тогда, когда это развитие условливалось общими требованиями эпохи. Скульптура процветала у греков только потому, что была выражением господствующей черты в их жизни — выражением страстного поклонения красоте форм человеческого тела. Готическая архитектура создала дивные памятники только потому, что была служительницею и выразительницею средневековых стремлений. Итальянская школа живописи произвела дивные картины только потому, что была выразительницею стремлений общества в том веке и в той стране, служила духу века, состоявшему в слиянии классического поклонения красоте человеческого тела с заоблачными стремлениями Средних веков.

Странным исключением из общего закона была бы литература, если бы могла производить что-нибудь замечательное, отрешаясь от жизни. Но мы уже говорили в одной из прежних статей, что таких случаев никогда и не бывало. Каким же образом может находить себе защитников так называемая теория «чистого искусства» (искусства небывалого и невозможного), требующая от литературы, чтобы она исключительно заботилась только о форме? Тут все основано на том, что приверженцы так называемого чистого искусства сами

не замечают истинного смысла своих желаний или хотят вводить других в заблуждение, говоря о чистом искусстве, которого никто не знает и никто, ни сами они, не желает. Не останавливаясь на общей фразе, которою заведомо или без ведома для самих себя прикрывают они свои истинные желания, надобно ближе рассмотреть в факты, свидетельствующие о их стремлениях, надобно посмотреть, в каком духе сами они пишут и в каком духе написаны произведения, одобряемые ими, и мы увидим, что они заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно служению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение. Дело в том, что есть люди, для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом. Для этих изящных эпикурейцев жизнь ограничивается тем горизонтом, который обнимается поэзией Анакреона и Горация: веселая беседа за умеренным, но изысканным столом, комфорт и женщины, — больше не нужно для них ничего. Само собою разумеется, что для таких темпераментов равно скучны все предметы, выходящие из круга эпикурейских идей; они хотели бы, чтобы и литература ограничивалась содержанием, которым ограничивается их собственная жизнь. Но прямо выразить такое желание значило бы обнаружить крайнюю нетерпимость и односторонность, и для прикрытия служат им фразы о чистом искусстве, независимом будто бы от интересов жизни. Но скажите, разве хороший стол, женщины и приятная беседа о женщинах не принадлежат к житейским фактам наравне с нищетою и пороком, злоупотреблениями и благородными стремлениями? Разве поэзия, если бы решилась ограничиться застольными песнями и эротическими беседами, не была бы все-таки выразительницею известного направления в жизни, служительницею известных идей? Она говорила бы нам: «Пойте и любите, наслаждайтесь и забавляйтесь, не думая ни о чем больше»; она была бы проповедницею эпикуреизма, а эпикуреизм точно так же философская система, как стоицизм и платонизм, как идеализм и материализм, и проповедовать эпикуреизм значит просто-напросто быть проповедником эпикуреизма, а не служителем чистого искусства.

Итак, вот к чему сводится вопрос о так называемом чистом искусстве: не к тому, должна или не должна литература быть служительницею жизни, распространительницею идей, — она не может ни в каком случае отказаться от этой роли, лежащей в самом существе ее, — нет, вопрос сводится просто к тому: должна ли литература ограничиваться

эпикурейскою тенденциею, забывая обо всем, кроме хорошего стола, женщин и беседы на аттический манер с миртовыми венками на головах собеседников и собеседниц? * Ответ, кажется, не может быть затруднителен. Ограничивать литературу изящным эпикуреизмом значит до нелепости стеснять ее границы, впадать в самую узкую односторонность и нетерпимость. Нет нужды на односторонность отвечать другою односторонностью; за остракизм, которому защитники так называемого чистого искусства хотели бы подвергнуть все другие идеи и направления литературы, кроме эпикурейского, нет нужды платить остракизмом, обращенным против эпикурейской тенденции, хотя она скорее всякой другой тенденции заслуживала бы осуждения как нечто праздное и пошловатое. Нет, избегая всяких односторонностей, скажем, что эпикурейское настроение духа, существуя в жизни, имеет право выражаться и в литературе, которая должна обнимать собою всю жизнь. Но справедливость требует сказать, что вообще эпикуреизм может играть важную роль в жизни только немногих людей, расположенных к нему по натуре и обставленным в жизни исключительно благоприятными обстоятельствами; потому и в литературе эпикурейское направление может приходиться по вкусу только немногим счастливым празднолобцам, а для огромного большинства людей такая тенденция всегда казалась и будет казаться безвкусна или даже решительно противна. Если же речь переходит к настоящему времени, то надобно заметить, что оно решительно неблагоприятно для эпикуреизма как время разумного движения [и борьбы], а не праздного застоя, и так как эпикуреизм в жизни для нашего времени есть занятие холодно-эгоистическое, следовательно, вовсе не поэтическое, то и в литературе эпикурейское направление нашего времени по необходимости запечатлевается холодною мертвечностью. Поэзия есть жизнь, действие, [борьба], страсть; эпикуреизм в наше время возможен только для людей бездейственных, чуждых исторической жизни, потому в эпикуреизме нашего времени очень мало поэзии. И если справедливо, что живая связь с разумными требованиями эпохи дает энергию и успех всякой деятельности человека, то эпикуреизм нашего времени не может создать в поэзии ровно ничего сколько-нибудь замечательного. Действительно, все произведения, написанные нашими современниками в этой тенденции, совершенно ничтожны в художественном отношении: они холодны, натянуты, бесцветны и риторичны.

* Само собою разумеется, мы здесь говорим только о том, какой смысл имеет теория чистого искусства в наше время. Здесь нас занимает настоящее, а не давно минувшее.

Литература не может не быть служительницей того или другого направления идей: это назначение, лежащее в ее натуре, — назначение, от которого она не в силах отказаться, если бы и хотела отказаться. Последователи теории чистого искусства, выдаваемого нам за нечто долженствующее быть чуждым житейских дел, обманываются или притворяются: слова «искусство должно быть независимо от жизни» всегда служили только прикрытием для борьбы против не нравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось этим людям по вкусу. Мы видели, чего хотят защитники теории чистого искусства в наше время, и едва ли можно думать, чтобы их слова могли иметь какое-нибудь влияние на литературу, как скоро смысл этих слов открыт. Нашему времени нет никакой охоты для эпикуреизма забыть обо всем остальном, и литература никак не может подчиниться этому узкому и мелкому направлению, чуждому здоровым стремлениям века.

[Как и всякая другая достойная внимания умственная или нравственная деятельность, литература по самой натуре не может не быть служительницей стремлений века, не может не быть выразительницей его идей. Вопрос состоит только в том, каким идеям должна служить она, — таким ли, которые, не имея важного места в жизни века, сообщат и литературе, ими ограничивающейся, характер пустоты, празднословия, или тем идеям, которыми движется век. Ответ на это нисколько не затруднителен: только те направления литературы достигают блестящего развития, которые возникают под влиянием идей сильных и живых, которые удовлетворяют настоящим потребностям эпохи. У каждого века есть свое историческое дело, свои особенные стремления. Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления, тесно связанные между собою и служащие дополнением одно другому: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни. К этим двум основным идеям примыкают, от них получают свою силу все остальные частные стремления, свойственные людям нашего века: вопрос о народности, вопрос о просвещении, государственные, юридические стремления оживляются этими идеями, решаются на основании их, вообще интересуют собою современного человека только по мере связи их с тенденцией к гуманности и улучшению человеческой жизни. Даже отдельные науки приобретают или теряют свою относительную важность по мере того, в какой степени служат они господствующим потребностям века. То же самое замечаем в судьбе искусств: если живопись ныне находится вообще в довольно жалком положении, главною причиною тому надобно считать отчуждение этого искусства

от современных стремлений. Другие искусства более или менее подверглись той же участи, как живопись, и по той же самой причине. Из всех искусств одна только литература сохраняет свое могущество и свое достоинство, потому что одна она поняла необходимость освежать свои силы живыми вдохновениями века. В самом деле, все те люди, которыми гордится новая европейская литература, — все без исключения вдохновляются стремлениями, которые движут жизнью нашей эпохи. Произведения Беранже, Жоржа Санда, Гейне, Диккенса, Теккерея внушены идеями гуманности и улучшения человеческой участи. А те таланты, деятельность которых не проникнута этими стремлениями, или остались безвестны, или приобрели известность вовсе не выгодную, не создав ничего заслуживающего славы. Теперь, например, почти каждому читателю покажется нелепостью, если кто вздумал бы признавать великий талант в каком-нибудь Александре Дюма (старшем). «Это пустой болтун; романы его нелепы и ничтожны во всех отношениях и преимущественно в художественном отношении», — скажет каждый. А между тем этот писатель, без сомнения, наделен от природы очень большим талантом, — но талант этот остался чужд стремлениям века, — и результатом было ничтожество его произведений.]

Нельзя насильно дать себе одушевления тем, что не возбуждает одушевления в нашей натуре. Или врожденные качества темперамента, или опыт жизни, размышление и наука, а не произвольное напряжение фантазии приводят человека к живому сочувствию всякой доброй, здоровой и благородной идее. Есть люди, неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них: для таких писателей бесполезно было бы накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами, — пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае. Но те писатели, в которых природа, или жизнь, соединила с талантом живое сердце, — те писатели должны дорожить в себе этим прекрасным сочетанием таланта с мыслью, дающею силу и смысл таланту, дающею жизнь и красоту его произведениям. Они должны сознавать, что их благородное сердце, их просвещенный ум ведут их по прямой, по единственной дороге к славе, внушая им потребность действовать на пользу исторического развития, быть служителями идей гуманности и улучшения человеческой жизни.

<...>

